# Локомотив

# Туве Марика Янссон

# То, что я теперь собираюсь написать, может показаться выдумкой, однако же центр тяжести моего рассказа лежит, по сути дела, в моей невероятной потребности в порядке. Собственно говоря, я не рассказываю, я повествую. Я известен своими деловыми качествами и пунктуальностью. А то, о чем я пытаюсь говорить, нужно мне самому, дабы выяснить кое-какие интересующие меня вопросы.

Писать трудно, я не знаю, с чего начать. Быть может, с изложения некоторых фактов. Итак, я специалист-чертежник и всю свою жизнь служил в Объединении железных дорог. Я очень обязательный и умелый художник, кроме того, много лет я являюсь секретарем — к этому я вернусь позднее. В моем рассказе речь прежде всего пойдет о локомотиве, я сознательно употребляю этот старинный термин, то есть не машина, движущаяся по рельсам, а *локомотив.*

Я питаю слабость к красивым и, быть может, несколько старомодным терминам. Естественно, я частенько черчу детали этой специфической машины в своей повседневной работе, и тут сказывается не что иное, как трезвая профессиональная гордость. Но по вечерам, когда возвращаюсь домой в свою квартиру, я черчу машины в движении, и прежде всего — локомотив. Это игра, хобби, которое не следует смешивать с амбициозностью. В последние годы я нарисовал и раскрасил множество иллюстраций на больших листах, норой думая о том, что из них мог бы получиться целый альбом. Но я еще не готов, пока не готов. Когда выйду на пенсию, я посвящу все свое время локомотиву или, скорее, идее локомотива. Как раз теперь я вынужден писать, писать каждый день. Я должен определиться. Картинок не хватает.

Когда-то давным-давно мой путь в школу лежал мимо железнодорожной станции. Путь бывал долгим, и, насколько я вспоминаю, всегда бывало жутко холодно, но я шел как можно медленнее, потому что этот путь был самым лучшим и самым надежным за целый день. Я шел и рассказывал самому себе... А когда подходил к железнодорожной станции, там было тепло, и часто я заканчивал очередную главу именно там. То есть, хочу сказать, я приберегал кульминацию, наивысший момент вплоть до тех самых минут, когда задерживался у входа на перрон и видел пред собой локомотив. Тогда я дозволял этому случиться.

То были огромные угольно-черные картины с декорациями в медных, зеленых и багровых тонах. Порой эти гиганты возникали, пуская долгий гудок, в пышном уборе из дыма, или скользили, медленно исчезая с перрона, накаляясь и увеличивая скорость, поршни двигались, будто крепкие мышцы, — это было красиво.

Или же они просто стояли, выдыхая белые пары в зимний холод, тяжело дыша от изнеможения и удовлетворения после долгой поездки. Они обладали удивительной силой. Но и они уставали. В такие мину ты они не несли ни малейшего жара в своей душе.

Само собой, важно сказать, что я мог ездить в школу на трамвае и что у меня была теплая и добротно сшитая одежда. Никто не обижал меня, будь то в школе или дома. Но когда я пытаюсь вспомнить, ничего не приходит мне на память, никакая иная реальность, кроме долгих странствий, когда я рассказывал истории себе самому, да еще огромного напряжения, достигавшего своего апогея на железнодорожной станции. Иногда я, бывая водителем локомотива, возил тысячи беспомощных людей сквозь ночь, машина набирала скорость, я подбрасывал топливо как заведенный и заставлял локомотив кричать: «Вот еду я!» И пассажиры всё больше и больше беспокоились, шли к проводнику по раскачивающимся вагонам и кричали:

— Что это? Что случилось?

И проводник, очень бледный, отвечал:

— Боже, помилуй нас всех, машина рвется вперед, но что-то не в порядке с тормозами...

Иногда я бывал капитаном, я заставлял небольшие океанские пароходы поворачивать у рифов и айсбергов, все и всё на борту вздрагивали на одну-единственную преисполненную страха секунду, и с быстрым царапаньем, будто рашпилем по металлу, корабль поворачивался и продолжал свое плавание, но сколько еще? Это знал только я. Я был императором и распоряжался жизнью и смертью. Я низвергал школы, я запрещал всему населению рожать детей. То была дивная игра, каждое утро и еще раз потом, когда я возвращался домой. Все остальное проходило мимо меня так же, как проходит время, я не так уж хорошо помню. Игры мои становились все более утонченными и в то же время более простыми. Никто не ведал, кто я! Это было неслыханно важно. Они никогда понятия не имели о том, кто шел среди них и свершал те же, что у них, дела, точно таким же образом, как они, в такое же точно время. Как я, должно быть, был могуч! Нынче я больше не пишу.

Позднее!

У меня очень красивая квартира, просторная общая комната, спальня, кухня, ванная и кабинет. В кабинет я заказал удобные полки для своих иллюстраций на больших листах, но, должен заметить, речь не идет, скажем, о мастерской художника, об ателье, скорее, это библиотека для специальной литературы. Слова «мастерская», «ателье» тут же напоминают о неряшливой романтике живописца — ничто мне так не чуждо. Но кабинет — рабочая комната, совершенно просто — это комната, где работают, пространство для орудий труда. Я никогда никому не показывал ни одной из моих зарисовок локомотивов на отдельных листах.

Я не обедаю дома, но утром и вечером завариваю себе чай. В моей квартире очень тихо. Иногда, за вечерним чаем, на меня снисходит странное ощущение того, что меня не существует. Это одна из тех деталей, объяснение которой я могу получить, когда пишу. Мне надобно писать каждый день и все время быть очень точным в деталях. Вообще, это связано с моей профессией. Меня обвиняли в том, что я никогда не показываю свое лицо. Фактически это случалось много раз. А зачем им видеть, каков я есть? Я не ведаю, чего они ждут от меня, во всяком случае, они не имеют права диктовать мне.

Позднее! Возможно, мне следовало бы говорить о себе в третьем person singularis[[1]](#footnote-1). «Он» — гораздо реальнее, нежели «я». Так мне кажется.

Итак, *он* никогда никому не показывал ни одного из своих рисунков. Благодаря моей работе секретаря и чертежника (здесь я повторяю — «моей», но это намеренно) в Объединении железных дорог, конференциям, совещаниям, ланчам и т. д., он был знаком с множеством людей. Зачастую людей, которым ничего не стоит болтать и которые не ценят свое время. Он быстро заметил, что они, в противоположность ему самому, откровенны и вовсе не боятся выдать себя; мало-помалу он обнаружил, что их откровенность могла ему пригодиться. Когда он приходил домой и продолжал работу, которую называл своей собственной, личной, ему в своих рисунках было гораздо легче изображать силу, независимость и превосходство летящей вперед машины.

Дома, естественно, он никогда никого не принимал. Квартира была абсолютно его собственной.

Вначале он прислушивался к разговорам очень внимательно. Позднее научился задавать нужные вопросы, вызывать говорящих на беседу о том, что было для них важнее всего остального. Это было, в общем, нетрудно, в особенности во время ланча или на празднике, который отмечала фирма. Он терпеливо ждал. Он выспрашивал и вскоре добивался именно того, что и вправду больше всего интересовало его собеседников, узнавал, на что они надеялись и чего боялись. С пристальным вниманием он тщательно вел их дальше. То было игрой или, скажем так, хобби. И совершенно изумительным материалом для работы. Тот момент, когда они, в порыве откровенности, выплескивали все тайны наружу, он называл «идеей локомотива». Пока они приближались к тому, чтобы выдать самое сокровенное, он тщательнейшим образом наблюдал за их лицами и руками, за их интонацией и паузами в разговоре. Все это давало гораздо больше, нежели слова, — ощущение отзвука силы, и это было как раз то, что ему необходимо для работы. Присущая машине сдерживаемая сила. Вообще, лица и особенно руки всегда казались ему мучительно обнаженными. Другой, еще более говорящей деталью является осанка, особая выправка спины, и положение затылка. Однажды я видел себя в двойном зеркале, коварно скрытом решеткой перед одним из магазинов, видел в полупрофиль сзади. Это было весьма неприятно.

Я отвлекся. Подождите!

Итак, он пользовался их откровениями — яркостью, глубиной красок, — где бы те ни таились, иногда в смехотворных надеждах и странных склонностях; он загружал себя и шел домой — и мог, и часто мог работать много часов подряд, исходя из своего ощущения совершенной машины. Он любил машины, их силу, их безупречную форму, их независимое равнодушие. Пока люди выговаривались, рассказывая все вплоть до самых скрытых маний или, позвольте сказать, до тех подробностей, как работает их организм, он тщательнейшим образом остерегался какой бы то ни было зависимости. Он приближался к людям, но избегал их и никогда не искал бесед с женщинами. Были люди, что постепенно отдалялись от него, но это был уже использованный материал. Теперь же я устал. Продолжу позднее!

Были и опасные, и недостижимые, но попадались и сбитые с толку, невинные, нездоровые и от беспомощности дружелюбные. А в общем, сколько силы пропадало зря! Разумеется, ведь ярлыки всегда — упрощенное понятие по отношению к людям, как, например, те редко возвращающиеся кошмары, что посещают их сны. (Я вернусь к снам позднее, и прежде всего к тому самому, о локомотиве. Неужели я слишком обстоятелен? В этом рассказе иные подробности следовало бы опустить.)

Следующий день. Иногда я становлюсь нелепо усталым по вечерам. Я откладываю работу в сторону, потому что не в силах начертить совершенную машину и одновременно заставить ее двигаться, запустить мотор, столкнуть с места, ринуться вперед. И голова моя кажется мне железной глыбой, ускользающей от меня, но большей частью устают руки, они весят как целый мир, там, где они лежат рядом со мной, и опускаются все ниже и ниже. Я не люблю брать людей за руку. Выражение «рукопожатие» вообще безрадостно. Почему же должно мне...

Ныне я потерял самого себя.

Новый отрывок:

Иногда, пока он прислушивался, он представлял себе, что эти люди собираются в путешествие, и обязательно поездом. Они начинают болтать о всяких ненужных мелочах, точь-в-точь как делают именно перед тем, как поезд должен вот-вот тронуться, делают невнимательно и второпях. Но в тот момент, когда поезд приходит в движение, они выдают то, что важно для них, самое опасное, выдают беспомощно, словно в постскриптум после безупречно составленного письма.

И они исчезали, он давал им исчезнуть и откидывался назад, уверенный, что перрон быстро ускользает, и шел домой работать.

О удержанная, о выпущенная на свободу сила в легкости пара, прекрасный локомотив моей юности с этим долгим гудком всеобщего ожидания и испуга — прямо ввысь, навстречу всем закопченным сводам вокзала; поршни начинают двигаться, и локомотив величественно покидает... все, что может быть покинуто... и влекомые им со скучного перрона вагоны вместе со всеми, кто слишком много сказал, — или ничего не было сказано! Это твой портрет пытаюсь я изобразить!

Здесь я должен внести изменение, это слишком личное. Сверяй с подлинником!

Возьми обратно свои слова или объясни почему.

Но почему ты так сказал, я не знаю.

Локомотив, который везет все беспокойство мира туда и обратно по всей земле, возможно, очень устал.

Заметь: я всегда был неслыханно бдителен в вопросе о женщинах. На них положиться нельзя.

Позднее!

Иной раз он мог играть с идеей о том, чтобы полюбить путешественника. Путешественник с большой буквы, это красивое архаичное слово, что совсем легко и безо всяких ассоциаций прикрепляется за тем, кто собирается в долгое путешествие. Это может быть чистая и свободная взлетная полоса для чьей-нибудь преданности, стремление, которому никогда не нужно становиться примером для подражания и которое никогда не бывает слишком близким. Стук колес — все равно что стук сердца, ритмичный пульс, бьющийся в диафрагме и животе, дальше вниз, дальше вбок, в конце концов лишь вибрация, рельсы впереди пустые и чистые, а потом тишина и освобождение.

Он никогда не ездил поездом, он не хотел.

Переживание никогда нельзя сравнивать с представлением о пережитом. Так думал он.

Железнодорожная станция также прекрасное и серьезное слово. Ныне, будучи в своем возрасте, он часто проходил мимо станции и задерживался там на некоторое время. Но по ночам и здесь — на станции — являются знакомые мечты и сны, по ночам ему снились настоящие локомотивы. Надо было спешить, чрезвычайно спешить, поезд должен был отходить, а он не упаковал еще чемодан, он не нашел свой паспорт и не знал, куда ему ехать, но это было важно, смертельно важно, и он бежал меж рельсами, забыв, каким поездом ему нужно ехать, и когда поезд отходит, и с какой платформы... Было слишком поздно, все было слишком поздно. Единственный человек, который когда-либо заметил, что он существовал, должен был ехать, чтобы никогда не вернуться назад, единственный, кого он не презирал и кого трудно было причислить к какой-либо категории. Тут локомотив взвыл, загудел, затем вскричал снова, и этот человек — он — помчался и запрыгал меж рельсами, и с гулким металлическим звоном локомотив подъезжал все ближе и ближе и уничтожал и сокрушал его в своем бесконечном превосходстве... Он схватился за какую-то железную скобу, за безразлично какую ручку, а воздух и ветер, завывавший вокруг него, был жарок, до противного жарок...

Я знаю, другим тоже снятся сны о поезде, но не такие, как мне, совсем не такие. Они всего лишь боятся опоздать, это очень просто. У них душа не болит так, как у меня.

Я должен попытаться объяснить привидевшиеся мне картины. Я собираю все яркие цвета локомотива: глубокая прусская синяя краска[[2]](#footnote-2), черный как уголь цвет, а в черно-угольной окраске блики багрового и белого огня, широко раскрытые, прекрасные глаза машины, однако же без тени угрозы, глаза, совершенно равнодушные ко всему, что встречается им по пути, и ко всему, что движется за ними следом. Эти ничейные вагоны, что постоянно наполняются и опустошаются, наполняются вновь, — они не представляют интереса. Они — словно женщины.

Теперь я перечитал то, что написал. Мне интересно, можно ли это понять или, наоборот, все слишком ясно. Меня обвиняли в том, что я уделяю слишком большое внимание деталям, но это идет от моего секретарства; секретарь я хороший. Долгая жизнь научила меня обращать внимание и ценить реальное, фактическое, и я чрезвычайно редко ошибаюсь. Теперь попытаюсь продолжить.

Его рисунки локомотива на больших листах выполнены в технике акварели, черная тушь и прозрачная, светящаяся бенгальским огнем тушь, которая применяется для раскрашивания фотографий. Разумеется, он сознавал, что не был одинок в своей идее поезда. Художник Тернер[[3]](#footnote-3) довольно убедительно изобразил головокружительную быстроту и силу, он, так сказать, скрывает лицо локомотива в дыму и в тумане, ты это знаешь, но не видишь. Его изображение рвущегося вперед поезда меня весьма удручает. Он рисует не локомотив, а только самого себя. Я подожду до завтра, как раз теперь я продолжать не стану.

То было воскресенье, он встал очень поздно и сел работать. Он не любил мольберт, потому как его руки и ладони становились такими тяжелыми, что им требовалась поддержка рабочего стола. Если можно заставить голову хоть на миг опереться на руки, это равносильно быстрым полуснам, будто пунктиром отмечающим бессонную ночь. Он уничтожил часть рисунка, который нельзя было переделать ни с помощью воды или краски, ни лезвием бритвы. Он долго сидел неподвижно, глядя на иллюстрацию, затем надел пальто и отправился на железнодорожную станцию. По-прежнему случалось так, что он шел туда, когда испытывал огорчение. Множество поездов прибыло на станцию, но он не обратил на них внимания, он пошел в ресторан, взял пиво. Все было занято, люди, незнакомые друг с другом, сидели за од it им столом и ели и пытались смотреть мимо тех, кто сидел напротив, или же вниз, в тарелки. Они ели быстро и тесно прижимали к себе свои сумки и чемоданы меж ножками стола. Сильнее обычного пахло едой. Он пил свое пиво и презирал их, он тогда как раз презирал все на свете, и у него болела спина. Боль всегда поражает самое слабое место. Прямо против него ела капусту с колбасой худая женщина в черном плаще. Потом она достала сигареты и начала искать спички в своей сумочке.

— Извините, — промолвила она, — у вас не найдется спички?

Он толкнул к ней коробок спичек и решил уйти.

— У вас лицо в краске. — Тон ее был абсолютно будничным, словно она сказала: «Ваша дорожная сумка открыта» или «У вас оса на пальто». И она тотчас, не улыбаясь, заставила свои глаза скользить дальше. Ее сдержанность была необычна для женщины, и, чтобы выказать свое одобрение, он учтиво спросил, куда ей предстоит ехать. Она ответила:

— Никуда. Я и не думаю о том, чтобы путешествовать. — И через несколько мгновений, словно она сочла свой ответ без надобности резким, добавила: — Я прихожу сюда порой, чтобы взглянуть на поезда.

Он сразу взбодрился, как охотник, стал внимателен... и спросил, почему и каким образом интересуется она поездами и в самом ли деле она никогда никуда не ездила? Нет, ей лишь нравится смотреть на поезда.

Раньше, пока он пытался постичь сокровенные тайны жизни, он никогда не искал встреч с женщинами. Возможно, даже наверняка они могли дать ему не менее полезный материал, но безошибочный инстинкт предупреждал его. Они живут припеваючи, злоупотребляя доверием к ним... лучше их избегать. И вот теперь он рассматривал женщину, которая явилась на железнодорожную станцию исключительно ради того, чтобы увидеть, как приходят и уходят поезда. И он подумал: «Возможно ли это, неужели я наконец нашел кого-то, с кем могу говорить и кто поймет меня?» Он серьезно спросил:

— Вы очарованы локомотивом, не правда ли?

Она, приподняв плечи, ответила:

— Точно не знаю. Поездом, совершенно просто. Поездом.

То была совершенно обычная женщина, может, чуть больше сорока. Ничего, кроме странной идеи, не выделяло эту женщину из других, кроме, возможно, широких бровей. Она погасила свою сигарету и поднялась, чтобы уйти. Слегка кивнув, она обошла стулья, где сидели жующие люди, и направилась дальше, в зал ожидания, на удивление длинное и угловатое помещение, которое наводило на мысли о вороне.

Потом он долго думал о ней. Он никогда раньше не встречал никого, кто был бы одержим идеей поезда, а только тех, кто работал на железной дороге или навязчиво рассказывал о своих путешествиях. Что же до этой женщины, вопрос был явно не в локомотиве, речь шла скорее об убегающих вагонах, естественное феминистское ощущение: отстаивать свои права, нестись вперед вместе с ними. И еще одна важная деталь: она никогда не собиралась путешествовать. То, что притягивало ее, было не обычное желание отыскать места потеплее и покрасивее, жизнь, что была бы более легкой или более насыщенной, нет, она любила поезд как таковой, как феномен. Восхищалась ли она красотой поезда? Или же представляла себе путешествие поездом как освобождение от ответственности? Отправиться отсюда на все четыре стороны, прочь... И пока тебя везут дальше, все, что остается позади, за твоей спиной, — непоправимо, окончательно, а то, к чему приближаешься, еще не раскинуло свои сети. Ты — путешественник, на краткий срок ты — свободен.

Ему казалось невероятно важным поговорить с ней. Он возвращался на станцию каждый день, но ее там не было. Он пытался вспомнить ее лицо, но единственное, что он помнил, были широкие черные брови и что она была высокой, черноволосой и худой. Зима продолжалась, все такая же холодная. Он по-прежнему работал со своими рисунками одинокими вечерами, и ему пришло в голову поместить людей у окна, но получилось неважно, и он все стер. Он встречался с людьми, но больше не пытался заставить их говорить о самих себе, и мимо железнодорожной станции проходил все реже и реже. Но мысли его постоянно задерживались на женщине, которой нравились поезда. Это стало игрой. Он наделял ее разными качествами, всевозможными чертами характера, приписывал переживания, давал профессию, даже придумывал детство, он делал ее сильной, мужественной и таинственной. В первый раз за время своей сознательной жизни он действительно заинтересовался другим человеком.

Однажды вечером он не мог больше работать, он дошел до чрезвычайно опасного момента. То, что оставалось завершить, было столь важно, столь значительно, что нужно было подождать. Я никогда не мог узнать, следует ли эти последние решающие линии или мазки кисточкой наносить в состоянии полного напряжения сил или же, напротив, в страстном порыве кинуться очертя голову, — я не знал. Можно столько уничтожить и так много выиграть — но во мне ничего нет от игрока, моим принципом было всегда — исследовать почву под ногами. Я всегда в поиске, а время идет, и вскоре у меня его больше не будет. Странно, разве нет, что именно локомотив мог стать мотивом (ха-ха!) для этого художника.

Подождите немного!

Он вышел из дому, направился на железнодорожную станцию. И там увидел. Она — на перроне. Она была выше, чем все прочие, стоявшие в ожидании поезда, но то, что больше всего выделяло ее из толпы, были плечи и посадка головы, неподвижность, свидетельствовавшая о том, что она была там не для того, чтобы встретить кого-то... она лишь ждала поезд.

Поезд пришел, замедлив ход, и остановился. Перрон наполнился людьми, торопившимися навстречу друг другу и друг мимо друга, но она не шевельнулась. Когда вокруг нее почти все опустело, она повернулась, чтобы уйти. Тогда он подошел к ней и спросил, узнала ли она его. Она кивнула. Черты ее лица были несколько заостренными, и на какой-то миг его смутило то, что она не отвечала тому образу, который он себе придумал. Только брови были такими, как должно, очень широкие и темные; глаза под ними казались какими-то неопределенными. Она смотрела в сторону.

— Вам нет нужды беспокоиться, — сказал он. — Я хочу лишь поговорить с вами о поездах, о том, чтобы путешествовать...

— Я никогда не путешествовала, — ответила она.

Тогда он попытался объяснить:

— Поэтому мне и нужно поговорить с вами, я тоже не путешествую, но я пленен поездами, так же как и вы...

Она пошла к залу ожидания, он ничего не понимал. Ситуация была смехотворной. Ноги у нее были длинные, и шла она очень быстро, он был вынужден едва ли не бежать за ней.

— Всего лишь минутку, — умолял он. — Не желаете ли чашечку кофе, нет? Но вы можете присесть в зале ожидания, если у вас есть время, у вас наверняка найдется время, несколько минут...

Они сели на скамью, и она закурила сигарету. Разумеется, он воображал себе легкую беседу о символике движения поезда, беседу отнюдь не личную, но ее упорное молчание, сознание того, что она когда угодно может подняться и уйти восвояси, лишало его почвы под ногами. Впервые в жизни он проявил неосторожность и выдал себя. Он рассказал ей о своих иллюстрациях, о мечте однажды увидеть их окончательно завершенными и напечатанными в книге. Он рассказал о том, что значил для него поезд, когда он был юным... Иногда он замолкал в ожидании, но сидевшая рядом с ним женщина с сигаретой не произносила ни слова. И в конце концов, подгоняемый далее ее молчанием, он униженно заговорил о своих исполненных страха снах, в которых он постоянно опаздывал на поезд. Он говорил все быстрее и быстрее и не мог остановиться.

Тем временем люди прямо у них под носом таскали взад-вперед свои чемоданы, громкоговорители объявляли время отхода и прибытия поездов, он повышал голос, пытаясь привлечь к себе ее взгляд, и в конце концов, взяв ее за руку, воскликнул:

— Вы понимаете? Вы понимаете, что я имею в виду? Для меня это серьезно, это важно! Не думайте, будто я маньяк, если бы вы увидели мои рисунки, вы бы поняли, что я в самом деле знаю о том, что говорю, и что я сохраняю душевное равновесие. Да, я, в общем-то, педант!

— Я понимаю, — серьезно ответила женщина. — Я понимаю, что вы имеете в виду. — Она, казалось, искала слова точь-в-точь так же беспорядочно, как то и дело рылась в своей сумочке, и в конце концов повторила: — Я понимаю.

Он очень устал. Они пошли в ресторан.

Ныне, задним числом, мне кажется невероятным, что я не понимал, что она имела в виду. Когда женщина говорит, что все понимает, это попросту значит, что она легко и без усилий вышла из положения. Она, эта странная женщина, не находила слов, потому как ей нечего было сказать. Но я в течение долгого времени создавал ее характер и все его особенности, я увидел в ее молчании лишь скрытую силу, самодостаточность, не дозволявшую кому-либо подобраться слишком близко. Это определенно так.

Позднее!

Она придет завтра, тогда я не смогу работать, тогда я буду лишь сознавать, что она в моей квартире. Но прежде чем она придет, многое нужно успеть, мне необходимо просмотреть и проверить то, что я написал. Но как раз не сию минуту.

Обратить внимание на повторы слов!

Он нанял ее как экономку, ей надо приходить три раза в неделю, чтобы готовить еду, убирать и т. д. Женщину звали Анна (имя такое же бледное, как молоко). Зачем он это сделал? Непонятно! Зачем впустил в свой дом? Не потому ли, что она, эта женщина по имени Анна, была единственной, кто знал его, она стала важна ему, и ее нельзя было потерять из виду, не в этом ли было дело? В первый раз, когда она пришла, на ней под плащом был надет белый фартук, а с собой — сетка, что явно означало: она нужна ей для работы по хозяйству. Она была очень предупредительна и хотела сразу же отправиться в кухню. Но поскольку Анна — я попытаюсь пользоваться этим именем, — поскольку Анна ныне стала тем человеком, что был мне самым близким, я предложил ей осмотреться в квартире. Она последовала за мной, и пока она серьезно и тщательно разглядывала те предметы обстановки, которые я привык видеть вокруг себя, я впервые увидел комнаты в моей квартире ее глазами, и они показались мне как-то странно пустыми. Она не произносила ни слова. Как я мог знать, почему она молчала? Она была словно неуловима, словно за защитным экраном, неприступна. Это естественно, потому как я пока еще верил в ее скрытую силу, ту силу, коей наделила ее моя мечта.

Мы вошли в кабинет. Само собой, я спрятал свои рисунки с локомотивами, и только чертежи лежали на столе. Она посмотрела на них, потом на меня каким-то затаенным понимающим взглядом и улыбнулась, она улыбнулась в первый раз, но то была пугающая улыбка интимности. Она не забыла. Нет, она не забыла мое признание. И подумала, что эти чертежи и были изображением локомотива!

Именно тогда, именно там мне следовало бы отослать ее прочь, но я этого не сделал. Она продолжала приходить, она убирала и готовила еду, и все время *я* боялся ее внезапной молчаливой улыбки и того быстрого понимающего взгляда. Ни общности, ни того, что составляет важную тайну, скорее, что разделяет стыд, полноту позора, которые можно бы простить, но никак не принять всерьез.

Быть может, я всю свою жизнь нуждался в ком-то, кто необычайно силен и кто говорил бы, что мне должно делать.

Но это не была она.

Она не была даже пассажиркой.

Теперь я очень устал. Я жду.

Итак, она улыбнулась и вышла в кухню. Она здесь третий день. Я считаю дни после ее ухода, ее, женщины по имени Анна. Она владеет всем, чему я ранее не придавал значения, — моим воздержанием, достоинством, моей тайной независимостью. Минутку, я пишу слишком быстро, я снова утратил себя.

Итак, он пытался поставить ее на место, но она постоянно избегала его, и иногда, когда они мельком сталкивались, она могла одарить его этой ужасной улыбкой — улыбкой постыдной тайны. Но глаза ее снова смотрели в сторону, и она никогда не отгораживалась от него своей улыбкой.

Я надеялся в конце концов найти путешественника, того, кто путешествует в своих мыслях, в мечтах, в своей комнате, путешествует куда больше, нежели те люди, что из конца в конец пересекают мир. Я полагал, что она могла бы постичь мои чудовищные катастрофы, которые никогда никого не подвергали опасности, но лишь заставляли людей увидеть, что я существовал и что я был тем, кто их спас. Я мог бы показать ей мои рисунки локомотивов.

Но я ждал, я больше не полагался на нее. Мы обычно совершали наши трапезы вместе; тогда она снимала фартук.

Все время я находился в напряженном ожидании, а возможно, боялся, я ведь не знал еще, подвела ли меня Анна ближе к образу моей мечты или же разрушила ее. С ней невозможно было говорить, не только потому, что запас слов у нее был необычайно мал, но и потому, что я никогда не был уверен в том, поняла она меня или нет. И все-таки я не мог молчать, я непрерывно болтал, болтал беспомощно, меня порой охватывало немыслимое желание забрать обратно все, что я наговорил, отрицать это, уничтожить, но еще сильнее было принуждение, заставлявшее еще больше довериться ей, уточнить подробности, почти осыпать ее всем, что было и что могло бы быть моей жизнью. Я следовал за ней в кухню и, опираясь на столик для мытья посуды или стоя у кухонного стола, говорил, говорил о себе самом: я не мог остановиться! И когда я однажды снова казнил себя самого, она улыбнулась и предложила отправиться на небольшую прогулку. Она упрямилась, желая помочь мне надеть пальто, и позаботилась, чтобы я не забыл галстук. Она владела мной, она поглотила меня. Она была своего рода монстром, поверьте мне, монстром. Мы всегда ходили на железнодорожную станцию, и когда вечерний поезд скользил вдоль перрона, она хватала мою руку и пожимала ее в знак тайного взаимопонимания. И всякий раз меня охватывал какой-то невообразимый жар, жар ужасающий, столь же сильный, как в юности, я видел, как подходит поезд, и чувствовал, что вот именно я заставляю работать тормоза и веду локомотив прямо по перрону, и прямо на людей.

Вычеркнуть потом!

Теперь я часто устаю, хотя и не работаю больше, чем нужно. Смог ли я объяснить все, что произошло? Или я чересчур обстоятелен? Мне придется просмотреть все от начала до конца, повторить очень тщательно.

Однажды в воскресенье, когда выдалась мягкая весенне-зимняя погода, она предложила нам прогуляться не на железнодорожную станцию, а в Ботанический сад. Почему? Да потому, что женщине по имени Анна нравилось осматривать оранжерею. Мы отправились туда. И когда мы стояли в перегретом влажном стеклянном помещении, разглядывая неподвижную зелень, она взяла мою руку так же, как привыкла делать, когда прибывал поезд. Она пожала мою руку и одарила меня той самой пугающей улыбкой. Мы возвращались домой. Мы шли рядом, и я знал, что женщина, следующая по моим стопам, несла с собой все то, что было мной, и что это ни в малейшей степени ее не волновало, и она так ничего и не поняла.

Мы продолжали нашу обычную будничную жизнь в спокойной колее обоюдного внимания, в колее, что пролегала все глубже и глубже. Вы можете представить себе колею, что мало-помалу растет так глубоко вширь, что никто уже не может перебраться через край, а может только продолжать, продолжать идти, бежать, мчаться в одну и ту же сторону... Я начал ненавидеть ее не сразу. Но вместо того, чтобы опережать, обгонять ее, забыть о ее существовании, я думал о ней каждый час моей неспокойной жизни, а в ночное время она разрушала мои сны. Чего я ждал... ведь ждать больше было нечего. Мы ничего другого не могли делить с ней, кроме этих трапез, во время которых я имел обыкновение читать, да ее мерзких прогулок. Каждый день я намеревался отказать Анне, отказать очень учтиво, дать ей крупную сумму денег, каждый день я решал, по крайней мере, сохранять молчание — держать язык за зубами — и каждый день терпел неудачу. И в конце концов я был окончательно доведен до того, что вынужден был показать ей ту мою работу — несущийся вперед локомотив.

Она спросила:

— Но где же перрон? Разве поезд не стоит на железно-дорожной станции?

А я увидел благодаря ее глупым глазам, я увидел, что локомотив стоял на месте. Он не шевелился. Я повернул картину лицом к стене и отошел к окну, чтобы не видеть ее, Анну. Некоторое время стояла тишина. Потом Анна подошла ко мне вплотную сзади и обняла меня.

На какой-то миг ее длинное жаркое тело прижалось к моему. Это было ужасно. Она что-то сказала, я не знаю, что она сказала, я не знаю, что произошло, кроме того, что я уже бежал вниз по улице к углу, где обычно покупаю газету.

Вообще-то я раньше уже упомянул, что начиналась весна.

Я не привык писать, но мне необходимо довести этот рассказ до конца. Женщина по имени Анна начала говорить мне «ты». Мои ночные сны изменились, то не был больше локомотив, преследовавший меня, то была она. Я бежал по рельсам, как раньше, я видел могучую конструкцию из стекла и металлический скелет железнодорожной станции на фоне ночного неба, я слышал гудок поезда на путях еще вдали, но она все приближалась, прыгая, словно черная птица, по рельсам, она была горячая и пахла потом и простирала руки, чтобы схватить меня. И при этом я знал, что она уже владела мной, она владела всем, что я хранил в своей душе, владела безраздельно и безвозвратно. Я просыпался в немыслимом ужасе и тотчас думал, сегодня ли она придет, сегодня или же только завтра... Дни, когда она не приходила, были самыми трудными, она ни на секунду не отпускала мои мысли, и моя ненависть становилась тогда почти невыносимой. Я был привязан к ней так, будто это дело совести... привязан будто к тени, будто к преступлению... Она никогда не бывала неприветлива со мной. Когда я сидел за своими чертежами, она время от времени ставила рядом со мной тарелку — она что-то пекла, готовила то одни, то другие сладости... чашку кофе или несколько цветков в стакане. Она вытряхивала мою пепельницу и выходила в кухню, закрывая дверь так тихо, что этот звук отдавался в моем затылке.

У меня вновь появились другие сны, мне снилось, будто я обернулся к ней, и кричал, и воздевал от ненависти руки к небу, и преследовал ее, чтобы убить. То была она, что убегала по рельсам, то была она, что, запыхавшись, спотыкалась, и оглядывалась через плечо, и кричала, видя, что я преследую ее, раскинув руки, словно когти хищной птицы! И я просыпался, я плакал. Я душил подушку.

Анна покупала мне витамины, ей казалось, что у меня нездоровый вид, что я бледен и мне необходимо отдохнуть или уехать. Она в самом деле говорила: «Уезжай!» А через некоторое время добавляла: «Мы могли бы совершить небольшое путешествие вместе». Я молчал, предоставляя ей болтать о Майорке, о туристической поездке: она, мол, накопила столько-то и столько-то денег, и она не будет мне в тягость. А если я не хочу лететь самолетом, то путешествие поездом может быть так же приятно, мы можем поехать на Север, может в Рованиеми[[4]](#footnote-4), где такой прекрасный отель с оленьими шкурами и открытым очагом... Она хочет пригласить меня. Она и вправду хотела бы пригласить меня в путешествие, и под конец она сказала:

— Для тебя, раз ты так интересуешься поездами, это было бы очень приятно!

Думаю, это было как раз в тот день, когда я решил дать ей умереть.

Я очень тщательно готовился к этому путешествию, заблаговременно забронировал номер в гостинице города Рованиеми. Я ходил словно окутанный ласковым туманом, все во мне притупилось, сгладилось и лишилось острых углов, и это было прекрасно. Женщина по имени Анна была болтлива от радости; раз за разом она объясняла, как замечательно, что именно нам, кто никогда не путешествовал, предстоит совершить совместную поездку. Она пекла пирожки, она приготовила мешок со снедью, она была таинственна и мучительно шаловлива. Я вышел в кухню за спичками и увидел на столике для мытья посуды чашу с кровью, именно с кровью, чуточку свернувшейся — с пеной по краям.

Анна сказала, что это для блинов, их можно есть холодными с брусникой. В ночном поезде. Это придумала она... Чаша была отвратительна. Я чувствовал себя больным и ушел восвояси и заперся от нее, думая: «Я не могу это сделать, я не выдержу этого...»

Но можно преодолеть гораздо больше того, что ты полагаешь, и всему должно идти к своему логическому завершению, и есть случаи, когда лишь богатство идей и сильная воля смогут... Подождите, *я* теряю самого себя, но это можно уладить позднее, именно сейчас я должен продолжить... я пишу очень быстро... Итак, мы прибыли на железнодорожную станцию, и я помог ей со всеми корзинками и картонками и купил гвоздику, которую ей хотелось прикрепить к плащу, и еженедельные газеты и спросил, хочет ли она кока-колу или сок, а тем временем локомотив стоял и ждал меня абсолютно спокойно, и стрелки станционных часов двигались вперед мелкими рывками, каждую минуту маленький рывок, и тут она закричала, нет ли кого-нибудь, кто проводил бы нас, кого-нибудь, кто пожелает нам счастливого пути! И когда состав начал двигаться по рельсам, она высунулась из вагона, держась за ручку двери, и все махала и махала людям, которых не знала, и высовывалась все дальше и дальше, пока они ускользали назад и исчезали, а мой локомотив был уже в пути, и когда ее захватила все увеличивавшаяся его скорость, я толкнул дверь, толчок этот огнем пробежал по мне, и дверь метнулась наружу вместе с ней, и она — женщина по имени Анна — исчезла, мелькнув черным одеянием, — взмахивающая крыльями птица. Больше ничего не было.

Я так часто обдумывал все это, что каждая деталь была отшлифована, отточена, каждый допустимый момент принят во внимание. Сначала локомотив давал гудок, долгий зов, пока она падала, но этот вариант я отверг. Другой сюжет был такой: дать женщине войти в купе, чтобы привести в порядок свои сумки и подушки, возможно, она станет махать руками через окно, когда поезд тронется, и не увидит, что я спрыгнул с поезда с другой стороны вагона. Но я ошибся... По другую сторону вагона двери были заперты. Так что я решил пойти купить сигареты в последнюю минуту... совершенно естественное желание. Она стоит у окна и беспокоится, и видит, что я бегу, и кричит: «Быстрее! Быстрее! Поезд отходит!» Но слишком поздно. Я замедляю бег, я простираю руки в беспомощном изнеможении. Я мог бы помахать ей рукой и засмеяться. Но это было бы почти жестоко.

1. Лицо *(лат.).* [↑](#footnote-ref-1)
2. То же что берлинская лазурь — краска светло‑синего цвета. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уильям Тернер (1775—1851) — английский живописец и график. Его романтические, смелые по колористичности и световоздушным исканиям пейзажи отличаются красочной фантасмагорией и пристрастием к необычным эффектам. Здесь имеется в виду «Дождь, пар и скорость» (1844). [↑](#footnote-ref-3)
4. Город в Лапландии, на берегу реки Кеми. [↑](#footnote-ref-4)